



Макс Зорин

Тиша

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Макс Зорин

Тиша

«Автор»

2026

Зорин М.

Тиша / М. Зорин — «Автор», 2026

Следователь Мария Покровская шьёт кукол, чтобы помогать детям пережить психологические травмы. Однажды её метод приводит к трагедии: мальчик Витя, которому она подарила куклу по имени «капитан Гречка», выбрасывается из окна после визита отчима-насильника. После смерти ребёнка кукла оживает — или так начинает казаться самой Маше. Голоса из прошлого, фарфоровые игрушки матери и чувство вины сплетаются в мистический детектив на границе между безумием, совестью и искуплением.

© Зорин М., 2026

© Автор, 2026

Макс Зорин

Тиша

Часть I: Мёртвая петля

Глава 1. Тряпичный свидетель

Стены кабинета, обитые пластиком под светлое дерево, не держали запахов. Но Мария Покровская знала — здесь всегда пахнет пылью от старых папок, хлоркой из туалета в конце коридора и, в дождливые дни, мокрой овчиной от бушлатов конвоя. Ещё здесь пахло страхом. Она различала его так же чётко, как другие различают ноты духов — едва уловимая кислинка, когда пот вступает в реакцию с дешёвым стиральным порошком, которым выстирана одежда. Сегодня страхом пахло от мальчика, сидевшего на расшатанном стуле.

Витя Галкин, десяти лет, болтал ногами. Носки — серые, с двойной резинкой, сползли гармошкой. Ботинки — на полразмера меньше, чем нужно, носок загнут вверх. Мария отметила это машинально, как отметила и то, что он втягивает голову в плечи, когда где-то в недрах РУВД хлопает дверь.

Мать, Светлана Галкина, сидела на стуле у окна и нервно ёрзала.

— Вить, — Мария положила руки на стол ладонями вверх. Жест открытости, которому она выучилась ещё в семьдесят девятом, у первой наставницы. — Я тебя не буду торопить. Хочешь, просто помолчим? Хочешь, я расскажу тебе сказку?

Парень поднял глаза. Серо-голубые, как февральский сугроб, тронутый копотью. И молчал. Он не разговаривал с чужими. С матерью, говорят, тоже. Только с котом. Кота звали Барсик, его отчим выбросил с восьмого этажа неделю назад.

Мария отодвинула ящик стола. Там, в окружении скрепок и просроченного леденца от кашля, лежала она. Кукла. Сшитая прошлой ночью, на кухне под монотонный бубнёж телевизора.

Она выложила её на стол медленно, как сапёр выкладывает обезвреженный снаряд. Кукла была размером с ладонь. Тело — из старого солдатского сукна, которое Маша купила в магазине «Ткани» на проспекте Победы ещё в прошлом году. Сукно было жёсткое, грубое, крашенное в защитный зелёный, который при стирке дал сложный оттенок — цвет мха на камне. Голову она набила гречневой шелухой, и теперь кукла мягко шуршала при прикосновении, словно что-то нашёптывала. Волосы — нитки мулине «ирис», которыми она вышивала крестиком ещё в институте.

— Это — капитан Гречка, — сказала Маша чуть более хриплым, чем обычно, голосом. — Он прибыл к нам из далёкого плавания. Его корабль попал в ужасный шторм, и он единственный, кто выжил. Теперь он ищет нового друга. Правда, он немного стесняется, потому что... ну, видишь, у него один глаз. Второй ему выклевала злая чайка.

Это был ритуал. Враньё, возведённое в метод. Кукла всегда должна быть несовершенна, в ней всегда должен быть изъян, который нужно принять, пожалеть, полюбить. Тогда ребёнок, глядя на это увечье, проецирует на куклу собственную сломанность и раскрывается ей.

Витя молчал, но взгляд его с пола переключался на куклу. Он рассматривал её, склонив голову набок. Маша отметила, что он не тянет руки. Дети обычно хватают игрушки сразу, особенно такие — странные, тактильные, пахнущие домом и уютом. Этот — ждал. Ждал подвоха.

— Хочешь поддержать? — спросила она.

Он покачал головой, но потом, словно извиняясь за резкость, прошептал:

— У него правда нет одного глаза. И шрам.

— Да. Прямо как у тебя.

Витя дёрнулся. Рука его метнулась к левой брови, где под чёлкой прятался старый рубец — след от пряжки ремня, как значилось в деле.

— Я не знал, что у него шрам, — сказал он, и это была первая длинная фраза за всё время их знакомства.

— Я знала, — ответила Маша.

Она закурила, хотя в кабинете курить запрещалось. Но ей было плевать. Пепел стряхивала в пустую банку из-под растворимого кофе. За окном, чуть подёрнутым желтизной от панельного отопления, моросил дождь. Типичный вологодский март.

— Как его зовут? — спросил мальчик, не отрывая взгляда от куклы.

— Я же говорю — капитан Гречка. А вообще, у него нет имени. Он ждёт, что ты дашь ему имя.

Витя наконец протянул руку. Пальцы у него были тонкие, ногти обкусанные. Кончики пальцев легли на сукно, и он вздрогнул от тактильного ощущения. Шелуха внутри мягко зашуршала, словно кукла сделала первый вдох.

— Он тёплый, — сказал он с удивлением.

— Я держала его за пазухой, пока шла сюда. Чтобы не замёрз. Они боятся холода.

Тут Витя улыбнулся. Впервые. Улыбка у него была странная, асимметричная, и Маша заметила, что одного бокового резца нет — видимо, выбили. Но в улыбке этой, несмотря ни на что, был свет.

— Я назову его Тиша, — сказал он. — Потому что он не болтает.

Маша кивнула.

Это была их первая встреча в этом кабинете.

Через три дня Витя Галкин должен был давать показания. Дело готовилось к суду. Отчим, Игорь Зуев, сорокапятiletний машинист крана, обвинялся в систематических истязаниях и действиях сексуального характера. Улики, кроме показаний Вити, были косвенными: показания участкового, заметившего синяки в школе, показания соседки, слышавшей крики. Но без слов мальчика всё разваливалось, и Зуев вышел бы на свободу, чтобы вернуться в ту же квартиру на улице Горького, где его ждали жена и Витя.

Маша готовила его три недели. Она не насадала, не вытягивала клещами детали. Они просто пили чай с печеньем «Юбилейным», и она учила его играть с куклой. «Расскажи Тише, что случилось с Барсиком. Тиша тоже любит кошек. У него на корабле жила корабельная кошка, которую звали... ну-ка, придумай сам». И Витя придумывал. Слова рождались медленно, как подземные воды пробиваются сквозь известняк, но они рождались. И показания были готовы. Они были у неё в сейфе — аккуратно подшитые, написанные от руки казённым языком, который так не вязался с тем, как Витя описывал свой страх.

За день до допроса она позвонила его матери.

— Как он? — спросила Маша, без предисловий.

— Нормально, — голос у Светланы был глухой, заспанный, словно говорила она из-под толщи воды. — Спит с этой вашей куклой. Не выпускает из рук. А эта... ну, эта, зараза, ещё и скрипит по ночам. Я хотела её выкинуть, но он в крик.

Маша тогда улыбнулась. Сработало. Метод сработал.

В этот же день приехал отчим. Зуев приехал неожиданно, нарушив запрет приближаться. Светлана сама открыла дверь — из страха, из привычки, из той тупой покорности, которая заменяет некоторым женщинам совесть. Он вошёл, сел на кухне, потребовал ужин. Витя заперся в комнате. А через полчаса, когда Зуев ушёл, мальчик открыл окно.

Не заплакал. Не закричал. Просто надел ботинки (те самые, с загнутым носом), застегнул курточку (не на ту молнию) и вышел в окно с девятого этажа. Кукла осталась лежать на подушке.

Сердце Маши остановилось на три секунды, когда позвонил Дёмин.

— Маш, — сказал он без экивоков. — Твой парень. С девятого этажа. Насмерть.

И она зависла в этой паузе, длинной в жизнь и смерть, а потом надела пальто и поехала на место.

Она стояла у подъезда, когда тело уже упаковали. «Скорая» мигала оранжевым. Толпа зевала молчала, только одна старуха крестилась. Маша смотрела на асфальт, где мелом обвели контур, и думала, что мел совершенно не подходит для таких вещей. Мел — для школьной доски, для временных схем, для всего, что можно стереть.

А потом, когда все разъехались, она поднялась в квартиру Галкиных. Светлана была в спальне, участковый составлял протокол, пахло валерьянкой. Маша прошла в комнату Вити.

Там было чисто. Слишком чисто для детской. Кровать застелена одеялом, сверху покрывало с оленями. Письменный стол, на столе — учебники стопкой, тетрадь. Над кроватью — рисунок акварелью: корабль в синем море.

А на подушке лежала кукла. Капитан Гречка, он же Тиша. Она лежала аккуратно, словно её уложили спать, укрыв край пододеяльника. Один глаз из чёрного мулине смотрел в потолок. Рот, вышитый красной ниткой, был чуть искривлён. Не в улыбке. В чём-то другом.

Маша взяла куклу. Сукно впитало запах ребёнка — что-то сладкое, больничное, немного собачьей шерсти (у них была собака, маленькая, дворняжка). Она сжала её в кулаке так сильно, что шелуха внутри захрустела, и впервые за двадцать лет работы с детьми заплакала. Беззвучно, не разжимая губ, только слезы текли, оставляя дорожки на лице.

«Я не успела, — подумала она. — Я опоздала. Он ушёл туда, где нет ни отчимов, ни матерей, ни следователей, и Тиша остался один».

Она положила куклу в карман пальто и ушла, не попрощавшись со Светланой. К чёрту.

Дома, в своей однокомнатной квартире на улице Чехова, Маша первым делом налила водки. Пятьдесят грамм, не больше. Выпила залпом, не закусывая. Потом сняла пальто и вспомнила, что кукла всё ещё в кармане. Достала, положила на кухонный стол, рядом с недоёденным бутербродом с докторской колбасой.

— Ну что, Тиша, — сказала она вслух. — Остались мы с тобой вдвоём.

Она не верила в мистику. Она верила в доказательства, в протоколы, в очные ставки. Но когда легла спать в ту ночь, то услышала, как на кухне что-то зашуршало. Как будто гречневая шелуха пересыпалась с места на место, устраиваясь поудобнее.

Она решила, что ей показалось. Завтра нужно сдать дело в архив. Списать. Сжечь все бумаги, словно и не было никакого Вити Галкина.

Но кукла лежала на столе и смотрела в потолок единственным глазом, и в этом взгляде, в этом стежке чёрного мулине, уже зрело обвинение.

Глава 2. Показания в ночи

Квартира на улице Чехова, дом восемь, второй этаж, окна во двор-колодец. Маша жила здесь двенадцать лет, и за это время двор зарос слоем времени: детская площадка с облезшим грибок-песочницей, лавочка, где по вечерам пили пиво старшеклассники, и трансформаторная будка, разрисованная граффити, которое никто не мог прочитать. Она любила этот двор за то, что здесь никто не знал, кем она работает.

Соседка по лестничной клетке, баба Нина, думала, что Маша — учительница. «Ишь ты, — говорила она, встречая Машу с тяжёлой сумкой, — всё тетрадки проверяешь? Вон, глаза-то красные». И Маша не спорила. Красные глаза были от табачного дыма, от недосыпа, от чужих детей, которые являлись к ней во сне и тянули руки.

В первое утро после смерти Вити Маша проснулась в шесть тридцать, как обычно, по будильнику. Раньше она заводила его на семь, но годы выработали привычку просыпаться затемно, в тишине, пока мир ещё не начал давить.

Она вышла на кухню и увидела куклу. Та лежала не на столе, где Маша её оставила, а на подоконнике, привалившись спиной к горшку с засохшей геранью. Окно было закрыто,

форточка тоже. Маша остановилась в дверях, и холодок пробежал по позвоночнику, от копчика к затылку, словно кто-то медленно вёл пальцем.

— Показалось, — сказала она вслух.

Кукла молчала.

Маша подошла к плите, щёлкнула конфоркой, поставила турку с кофе. Кофе она варила по привычке, оставшейся от матери: на две ложки молотого, одну — сахара, долить холодной воды, ждать, пока поднимется шапка пены. За этим занятием она провела минут пять, и всё это время ощущала спиной взгляд. Не как метафору — как физическое давление, лёгкое, но настойчивое, словно кто-то прижал палец к ткани её халата.

Обернулась. Кукла сидела так же, у герани. Маша подошла, взяла её в руки. Сукно было холодным — окно всё-таки пропускало сквозняк. Она поднесла куклу к лицу. От ткани пахло пылью и всё ещё чуть-чуть — Витей.

— Ну что ты на меня уставился? — спросила она. — Я сделала всё, что могла.

Кукла молчала. Но когда Маша клала её обратно, ей показалось, что голова качнулась.

Она решила не ехать в отдел. Взяла отгул. Дёмин, когда она позвонила, только крикнул в трубку и сказал: «Правильно». Она села к окну и стала смотреть во двор.

Двор жил своей жизнью: дворник дядя Коля сгребал мусор в кучу, собака бегала за голубями, мамаша везла коляску через лужи. Всё это было далеко, за стеклом, в другом измерении. А здесь, внутри, остались только Маша и кукла.

К вечеру она заставила себя поесть. Разогрела вчерашние макароны с котлетой, выпила чаю. Потом села в кресло с книгой — детектив, чтобы отключать мозг. Буквы плыли, не складываясь в смысл.

Она заснула в кресле, не раздеваясь, и ей приснился Витя. Он сидел на стуле в её кабинете и держал куклу. Только теперь у куклы было два глаза, и оба смотрели на Машу.

— Почему ты не спасла меня? — спросил Витя во сне. Голос у него был взрослый, как у мужчины, и от этого становилось ещё страшнее.

— Я не могла, — ответила она. — Я не знала, что он придёт.

— Ты не знала, потому что ты спешила, — сказал мальчик. — Ты смотрела на часы.

И тут Маша проснулась. Сердце колотилось где-то в горле. В комнате было темно, только уличный фонарь бил сквозь неплотные шторы, расчерчивая пол на жёлтые полосы. Она потянулась к выключателю торшера, дёрнула за шнурок. Свет залил комнату, и она увидела куклу.

Та сидела на журнальном столике, прямо перед креслом, и смотрела на Машу. Единственный глаз блестел в свете лампы. И рот... рот, вышитый красным мулине, был теперь открыт. Нитка, которой Маша вышила нижнюю губу, лопнула, и получилась щель, тёмная, как настоящий рот.

Маша вскочила. Кресло отъехало назад, ударились о книжный стеллаж. С полки упала фарфоровая статуэтка балерины — одна из коллекции матери. Не разбилась, но подпрыгнула на паркете и замерла у плинтуса.

— Этого не может быть, — сказала она. — Просто нитка перетёрлась. Я плохо закрепила узел.

Она подошла к столу и взяла куклу. Руки дрожали — мелкой, противной дрожью, как у старух в очереди за пенсией. Она поднесла куклу к свету. Нитка действительно лопнула. Но как? Когда? Она не трогала куклу уже несколько часов. Сукно вокруг рта было чуть влажным.

— Витя, — прошептала она. — Если ты меня слышишь...

Она не закончила. Кукла в её руках вдруг стала тёплой. Не нагрелась, а именно стала тёплой, словно живое тело, словно Маша действительно держала её за пазухой. Тепло шло изнутри, от гречневой шелухи, которая сейчас, казалось, пульсировала.

— ... Ты просто устала, — закончила она фразу за здоровье. — Нервный срыв. Это бывает.

Она положила куклу на подоконник, лицом к стеклу, чтобы не видеть её глаза, и пошла в ванную. Умылась ледяной водой. Посмотрела в зеркало. Из зеркала глядела женщина тридцати восьми лет, с мешками под глазами, с нитками седины у висков, с плотно сжатым ртом, который за годы допросов научился не выдавать эмоций. Только глаза жили отдельно — в них стоял страх. Тот самый, детский, какой она видела у своих свидетелей сотни раз.

— Ты не веришь в привидения, — сказала она отражению. — Ты веришь в Уголовно-процессуальный кодекс.

Отражение ей не поверило.

Ночью она легла в постель, предварительно заперев дверь в кухню. Ключ оставила в замке. Кукла осталась на подоконнике. Маша долго ворочалась, перебирая в голове все этапы допроса, все свои действия за последние три недели. И да, она помнила тот момент. Тот самый, когда Витя впервые рассказывал о том, что случилось с его котом. Она действительно бросила взгляд на часы. Торопилась? Нет, ей просто нужно было успеть к шести в суд, на другое заседание.

— Я не могла всё бросить, — сказала она в потолок.

Потолок молчал.

И тут с кухни раздался шорох. Шелуха. Гречневая шелуха пересыпалась. Звук был тихий, как будто песок течёт в песочных часах, но в ночной тишине он казался оглушительным.

— Прекрати, — сказала Маша.

Звук стал громче.

Маша села на кровати, сжав край одеяла в кулаке. Она хотела встать, пойти на кухню и выбросить куклу в мусоропровод. Но что-то держало её. Страх? Да, страх. Но ещё и стыд. Выбросить куклу — значило выбросить последнюю частицу Вити. Последнее, что осталось от этого сероглазого мальчика, который называл её «тётя Маша» и который подарил кукле имя — Тиша.

Она снова легла. Сердце постепенно успокоилось. Шорох стих. Маша закрыла глаза.

И тогда раздался голос.

— Ты смотрела на часы.

Это был не шёпот, не звук, не скрип. Это была мысль, которая возникла у неё в голове, но как будто вложенная кем-то. Как записка, подброшенная в запертую комнату.

Она рывком села, включила ночник. На часах было 3:17.

В кухне было тихо.

Маша сходила на кухню. Кукла сидела на подоконнике, спиной к ней.

— Я тебя не боюсь, — сказала она и тут же поняла, что это неправда.

Она вернулась в постель и пролежала без сна до рассвета, глядя, как серый мартовский свет заползает в комнату, словно проявляя фотографию. В семь утра она встала, выпила кофе, оделась и поехала в отдел. Не потому, что хотела работать, а потому, что боялась остаться с куклой наедине.

Она заперла дверь на все замки, когда уходила. Кукла осталась дома.

На работе было пусто и гулко, как в актовом зале после утренника. Дёмин принёс ей папку с делом Зуева. Сверху уже лежало постановление о прекращении в связи со смертью свидетеля.

— Подпиши, — сказал он, кладя шариковую ручку.

Маша взяла ручку. Пальцы ещё дрожали. Она подписала, не читая.

— Ты как? — спросил Дёмин, забирая папку.

— Нормально. Просто не выспалась.

— Это бывает, — сказал он.

— Слушай, я понимаю. Парня жалко. Но ты-то тут при чём? Ты не могла знать, что этот урод к ним пойдёт.

— Могла, — сказала Маша. — Если бы я не думала о другом деле. Если бы я проверила, где находился Зуев в тот вечер. Я просто... — она осеклась, потому что чуть не сказала: «я смотрела на часы».

Дёмин ушёл. Она осталась в кабинете одна. Закурила. Дым поплыл к потолку, закручиваясь в серые жгуты. Она думала о том, что вечером нужно вернуться домой. Дома её ждёт кукла. И та фраза, которую она не договорила.

— Ты смотрела на часы.

Что будет дальше? Какие ещё показания даст Тиша?

Она не знала. Но чувствовала: это только начало.

Глава 3. Чужой дядя

Судмедэксперт Глеб Нестеров коллекционировал бабочек и оперные арии. Первое удивляло всех, кто узнавал, второе — только тех, кто слышал, как он напевает арию Ленского, взвешивая чьи-то лёгкие.

Маша знала его четыре года. Их роман начался два года назад — странный, урывчатый, как связь двух людей, которые видели слишком много смертей, чтобы верить в простые радости. Они не жили вместе. Не обсуждали будущее. Иногда он оставался у неё на ночь, и тогда она выставляла в коридор свою коллекцию кукол — фарфоровых, молчаливых, чтобы они не смотрели на них своими стеклянными глазами.

Глеб позвонил ей в четверг, через пять дней после того, как всё началось. Маша как раз вернулась из отдела, где перебирала старые дела, пытаясь найти закономерность, пытаясь понять, почему Витя сорвался. Кукла сидела на холодильнике — она пересадила её туда, чтобы не видеть лица.

— Я заеду, — сказал Глеб без предисловий. — Привезти поесть?

— Вези. Только не рыбу. От рыбы воняет.

— Будет тебе кура. Кура-гриль из гастронома.

Он приехал через час, когда на город уже опустились сумерки. Маша услышала его шаги по лестнице — тяжёлые, уверенные. Звонок. Она открыла.

Глеб вошёл, принес с собой запах уличного холода и жареной курицы. Он был в пальто, которое носил пятый сезон, и в своём неизменном красном галстуке, который выгляделывал из-под шарфа, как язык пламени.

— У тебя лицо — краше в гроб кладут, — сказал он с порога, оглядывая Машу. — Ты спала вообще?

— Спала.

— Врёшь.

Он прошёл на кухню, достал из пакета курицу в фольге, хлеб, бутылку «Пшеничной». Увидел куклу на холодильнике. Присмотрелся.

— Это та самая? — спросил он тихо.

— Та самая.

Глеб взял куклу в руки. В отличие от Маши, он не верил в тонкие материи. Его вера была проста и конкретна: то, что можно измерить, взвесить, вскрыть скальпелем. Но что-то в его движении, в том, как осторожно он держал тряпичное тельце, было от священника, берущего в руки потир.

— Странная игрушка, — сказал он. — Она тяжёлая, хотя внутри, кажется, шелуха.

— Ты и шелуху взвешивал?

— Я всё взвешиваю, — он усмехнулся. — Работа такая.

Он посадил куклу обратно на холодильник, и Маше показалось, что единственный глаз блеснул ярче, чем обычно. Может, от света лампы. Может, нет.

Глеб накрыл на стол. Они ели молча, за окном проезжали машины по мокрому асфальту. Кто-то из соседей включил магнитофон — глухо забухали басы «Руки вверх».

— Ты зря себя коришь, — сказал Глеб, доедая крылышко. — Ты сделала всё по протоколу.

— Протокол не спас его. Я не спасла.

— Ты не господь бог. Ты следователь. Твоё дело — собрать доказательства, а не быть ангелом-хранителем для всех сирот области.

Маша молчала.

— Этот Зуев, — продолжал Глеб, — он же конченный урод. Я читал сводки. Кота выкинул, чтобы пацан не проболтался? Так?

— Так.

— Ну так вот. Кота этого я вскрывал.

Маша подняла глаза.

— Что?

— Да, забыл сказать. Кота принесла соседка. Хотела доказать, что его убили специально. Ну, я вскрыл, хотя это не мой профиль... В общем, у кота были сломаны передние лапы и разорвана селезёнка. Его сначала ударили, а потом выкинули. Скорее всего, об стену. Витя это видел, и поэтому Зуев его запугал. Поэтому пацан молчал.

Маша замерла с вилкой в руке. Перед её глазами встала картина: Витя, десятилетний мальчик с серо-голубыми глазами, стоит и смотрит, как его единственного друга, его кота Барсика, бьют об стену. И он молчит. И продолжает молчать. Пока не приходит она, Маша, и не дарит ему куклу. И он наконец начинает говорить — сначала кукле, потом ей.

— Я этого не знала, — тихо сказала она. — Почему ты не сказал?

— А что бы это изменило? Ты бы сильнее жалела его? Так тебе и без того хватает. Дело было готово к передаче в суд. Зуева бы посадили. Но пацан не выдержал. Это... это его выбор, Маш.

— У десятилетних не бывает выбора. Им не дают выбирать. Им приказывают. Или бьют. Или выбрасывают из окон.

— Ты его слишком близко к сердцу приняла, — сказал он. — Ты всех их принимаешь. Поэтому ты лучшая в своём деле. Но это же тебя и убивает.

Маша посмотрела на куклу. Та сидела на холодильнике, свесив ноги.

— Знаешь, — сказала она, — по ночам она разговаривает.

Глеб удивлённо поднял бровь.

— В смысле, скрипит? Старые игрушки часто скрипят, когда температура...

— Нет. Разговаривает. Голосом Вити. Словами.

Она ждала, что он засмеётся. Что назовёт это истерикой, нервным срывом, переутомлением. Но он не засмеялся. Он затушил сигарету о дно консервной банки, служившей пепельницей, и посмотрел на неё тем взглядом, которым, наверное, смотрел на трупы — внимательно, без осуждения, но и без иллюзий.

— Что она говорит?

— Правду. Вещи, которые я сама о себе забыла.

— Например?

Маша помолчала. Рассказывать было страшно. Словно слова, произнесённые вслух, делают безумие реальным.

— Что я смотрела на часы во время последнего допроса. Что я спешила.

Глеб хмыкнул.

— Ты всегда спешишь. У тебя на всё хронометраж. Это не преступление.

— А если из-за этого погиб ребёнок?

Глеб встал, подошёл к ней сзади и положил руки на плечи. Ладони у него были тяжёлые, горячие, с вьёвшимся запахом формалина, который не брал ни один одеколон. Она откинула

голову, прижалась затылком к его животу. Ей было нужно это тепло. Простое, человеческое тепло.

— Маш, — сказал он тихо, — если ты будешь так себя казнить, ты сгоришь за год. А ты нужна. Ты нужна другим детям. Живым.

— Я знаю.

— Ни хрена ты не знаешь. Ты знаешь, что говорит тебе твоя вышитая совесть. Но совесть — плохой советчик. Она не даёт спать, но и не даёт думать.

Он наклонился, поцеловал её в макушку. От него пахло табаком, водкой и всё тем же формалином — вечный запах морга, который она уже почти не замечала. Она закрыла глаза.

— Останься, — сказала она.

— Конечно.

Ночью они лежали в постели, и Глеб уже засыпал, посапывая ей в плечо. Маша не спала. Она слушала тишину. Из кухни не доносилось ни звука. Кукла молчала, словно затаилась, словно не хотела выдавать своего присутствия при чужом.

Около трёх ночи Маша встала, накинула халат и прошла на кухню. Кукла сидела на холодильнике, где они её и оставили. В лунном свете, падавшем из окна, её лицо казалось вырезанным из тёмного дерева. Маша подошла ближе. Единственный глаз блеснул.

— Ты ему не сказала, — раздался шёпот. Не в ушах — в голове.

Маша замерла.

— Чего не сказала?

— Про кота. Ты знала про кота. Ты знала, что он видел, как убивают Барсика. Ты не спросила его об этом. Ты побоялась.

Маша отступила на шаг. Сердце снова забило в горле.

— Я не знала, — сказала она вслух. — Я не знала, что это так важно для него.

— Ты боялась, что он заплачет, и ты не успеешь записать показания. Ты спешила. Ты всегда спешишь.

— Замолчи.

Кукла замолчала. Но взгляд её стал ещё более тяжёлым.

В спальне заворочался Глеб. Маша быстро вернулась в постель, юркнула под одеяло, прижалась к его спине. Ей было холодно. Очень холодно, хотя батареи шпарили на полную.

Утром Глеб ушёл рано — его вызвали на место происшествия, какая-то бытовуха в районе льнокомбината. Он поцеловал её в висок, натянул своё неизменное пальто, поправил галстук перед зеркалом и ушёл, насвистывая арию Герцога из «Риголетто».

Как только за ним закрылась дверь, в кухне что-то упало. Маша бросилась туда. На полу, у холодильника, лежала кукла. И рядом с ней — магнит на холодильник. Маленький пластмассовый чебурашка, которого Маша купила в Сочи сто лет назад.

Чебурашка был сломан. Голова откатилась в сторону.

Маша подняла куклу.

— Ты это сделала? — спросила она.

Кукла молчала.

Но когда Маша перевернула её, она увидела, что из шва на спине, там, где у человека были бы лопатки, торчит маленький клочок бумаги. Она потянула за него, развернула.

Это была страница из дела. Ксерокопия её собственноручных показаний, где она писала: «Несовершеннолетний свидетель В. Галкин психологически стабилен, готов к даче показаний в суде».

На полях, её же почерком, было приписано: «Я спешила. Я не проверила. Я виновата».

Маша скомкала бумагу. Бросила в мусорное ведро.

Она поняла, что теряет контроль. Или уже потеряла.

Глава 4. Стекланные глаза

Двадцать восемь кукол жили в квартире Марии Покровской. Двадцать восемь фарфоровых женщин, мужчин, младенцев и пастушек смотрели на мир с полок застеклённого шкафа. Они достались ей от матери — единственное наследство, кроме старой мебели и привычки варить кофе с сахаром.

Мать, Елизавета Андреевна, собирала кукол всю жизнь. Она ездила за ними в Ленинград, в Москву, однажды даже в ГДР, откуда привезла хрупкую блондинку с закрывающимися глазами, которая обошлась в половину месячной зарплаты. Когда мать умерла — рак, долго, мучительно, — Маша не смогла ни продать кукол, ни выбросить. Они стали частью интерьера, частью молчаливой армии, которая наблюдала за ней.

Раньше они её не беспокоили. Но теперь всё изменилось.

После случая с чебурашкой она переставила тряпичного Тишу в гостиную, на книжную полку, между томиком Уголовно-процессуального кодекса и потрёпанным сборником стихов Бродского. И в первую же ночь, когда Маша прошла мимо этой полки в туалет, она услышала, как фарфоровые куклы за стеклом зашевелились.

Не в реальности — в голове. Но для неё разница уже стиралась.

«Она нас боится. Она всегда нас боялась».

Маша включила свет в гостиной и уставилась на шкаф. Фарфоровые лица, раскрашенные яркими красками, замерли. У каждой было своё выражение: вот эта улыбается, эта хмурится, эта смотрит куда-то вдаль. При свете они были просто игрушками. В темноте — свидетелями.

— Я вас не боюсь, — сказала она и тут же поняла, что за последнюю неделю эта фраза стала её мантрой. Мантрой, которая не работала.

Она вернулась в спальню, легла. Но стоило ей закрыть глаза, как перед внутренним взором возникали образы. Не Вити. Других детей. Всех тех, с кем она работала за двадцать лет. Их лица, их голоса, их куклы.

Куклы.

Она шила их сама. Каждому. За двадцать лет она сшила больше ста кукол. Мальчиков и девочек. Смешных и грустных. Целых и с изъянами. Она дарила им имена, голоса, судьбы. И каждая кукла уносила с собой часть ребёнка. Часть его боли.

И теперь, когда она закрывала глаза, она видела их всех. Они стояли в ряд, как в её шкафу, и смотрели на неё. Сто кукол, сто обвинений.

— Это невыносимо, — прошептала она в подушку.

Утром она позвонила своему психотерапевту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.